

Юрий НЕВОДОВ  
(1925–1995)

ПАМЯТЬ СЕРДЦА  
*Книга о Борисе Семеновиче Неводове*  
1991 год

Публикация *Натальи Неводовой*

### **От публикатора**

С трепетом и волнением представляю читателям эту драгоценную рукопись, которая больше тридцати лет бережно хранилась в семейном архиве Неводовых. «Память сердца» – удивительный документ, в котором соединились профессиональное мастерство литературоведа и сыновняя любовь.

Юрий Борисович Неводов прожил жизнь, достойную отдельной книги. Родившийся в год, когда страна только начинала оправляться от революционных потрясений, он принадлежал к поколению, чью юность опалила война. В 1943 году, окончив школу, восемнадцатилетний Юрий ушел на фронт. Служил в артиллерии 48-й армии, был командиром истребительно-противотанковой артиллерийской батареи, прошел тяжелейший боевой путь от Березины до Кенигсберга. Его боевые заслуги были отмечены орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».

После войны бывший фронтовик выбрал совершенно мирную стезю: изучение литературы. В 1952 году окончил филологический факультет Саратовского университета, затем аспирантуру под руководством выдающегося ученого Ю.Г. Оксмана<sup>1</sup>. Входил в «герценовскую группу», занимавшуюся подготовкой академического собрания сочинений А.И. Герцена.

Вся его последующая жизнь была связана с Саратовским государственным университетом: ассистент, ученый секретарь, старший преподаватель, а с 1975 года – доцент кафедры советской литературы филологического факультета. Он читал лекции по истории советской литературы, белорусской литературы, вел спецкурсы по драматургии В. Вишневского, М. Булгакова и литературе 1920-х годов.

Но Юрий Борисович был не только ученым. Он посвящал себя и общественной работе, стал первым руководителем Саратовского общества защиты животных. Благодаря его усилиям в 1993 году в Саратове открылся один из первых в России приютов для бездомных животных – второй после московского.

И вот перед вами его сокровенный труд – воспоминания об отце, Борисе Семеновиче Неводове, саратовском писателе. Эти страницы написаны любящим человеком. Поэтому здесь автор предстает не только как строгий ученый, а как чуткий, ранимый человек, хранящий память о своем отце.

---

<sup>1</sup> Оксман Юлиан Григорьевич (1894/1895–1970) – литературовед, историк, пушкинист, доктор филологических наук, профессор, специалист по истории русской литературы и архивоведению.

Борис Семенович Неводов приобрел известность как журналист, многолетний сотрудник областной газеты «Коммунист» и автор исторического романа «Бриллиантовый князь» (1941). Менее он известен в качестве автора повестей «Пелагея Черноглаз» (1934) и «Дерзание» (1936). Первая из них была запрещена сразу же после выхода в свет, а вторая затерялась на страницах местного альманаха «Литературный Саратов». И уже совсем неизвестен Б.С. Неводов как автор нескольких произведений автобиографического характера, оставшихся в рукописи, и незавершенного романа «Дорога на Восток». После Отечественной войны Б.С. Неводов продолжал писать и печататься, издав несколько романов и повестей: «В грозу» (1945), «Подвиг» (1947), «Недра» (1950) и сборник рассказов «Всюду жизнь» (1955), – но заметного места в литературе занять уже не мог.

Б.С. Неводов как литератор рос и формировался сначала в Уральске, при газете «Красный Урал», затем в Саратове, сотрудничая в местной краевой и областной печати. От производственных очерков, составивших сборник «Человек, земля и завод» (1932), он, не порывая связи с газетой, шагнул в художественную литературу, и первой серьезной заявкой на этом пути была уже упоминавшаяся выше повесть «Пелагея Черноглаз».

Обращение Б.С. Неводова к писательству явилось для него трудным делом. Причин было несколько. Во-первых, это инерция очерковой работы, во-вторых, особенности его биографии и невозможность писать о том, о чем бы он хотел. Здесь хранятся истоки его писательской и личной трагедии.

Работа в газете приучает к дисциплине ума, к четкости позиции и экономии слова. Но она же вырабатывает привычку к шаблону, клише. В эпоху всеобщей политизации и тотального режима печать ориентировала не на поиск самостоятельной истины, а на использование готовых лозунгов и указаний, спущенных сверху. Сложившемуся в этих условиях сознанию невероятно трудно было преодолеть барьер, отделявший догму от своего собственного видения мира. Б.С. Неводову это удавалось редко. И успех ему сопутствовал лишь в романе о «бриллиантовом князе» и отчасти в «Пелагее Черноглаз». Только погружаясь в историю, где законы и запреты официальной идеологии действовали не столь прямолинейно, или вторгаясь в быт, не поддающийся однозначному истолкованию, Б.С. Неводов как художник обретал самого себя. Впрочем, и в этом случае не всегда.

И второе. Его, уральца по отцу и дедам, властно притягивала судьба уральского казачества в далеком и близком прошлом. Но он лишен был возможности использовать этот материал. И потому, что уральское казачество в основной своей массе приняло участие в гражданской войне на стороне контрреволюции, и потому, что у писателя не было смелости и дара, равного таланту и смелости М.А. Шолохова. Главное же заключалось в том, что биография Б.С. Неводова оказалась иной, чем у автора «Тихого Дона». В пору гражданской войны, развернувшейся в Уральске и приуральских степях, он в силу роковых обстоятельств оказался не в Красной армии, а в войсках белоказачьего генерала Толстова<sup>2</sup>. И хотя позднее отец искупил свою вину участием в походе против Врангеля, этот эпизод имел для него тяжелые последствия. Став уже журналистом и писателем, он попал в число париев, людей второго сорта, отставленных от литературного труда. Правда, преследования, которым он подвергался в 1930-е годы, не идут ни в какое сравнение с судьбой тех, кто прошел тюрьмы, ссылки и лагеря, но «все же, все же, все же».

В течение продолжительного времени Б.С. Неводов не мог писать и печататься. Пришедший в литературу по призванию, он был отрешен от нее и вынужден был, чтобы спасти себя и свою семью от голодной смерти (опасность весьма реальная в первой половине 1930-х

---

<sup>2</sup> Толстов Владимир Сергеевич (1884–1956) – генерал-лейтенант, последний атаман Уральского казачьего войска, участник гражданской войны на стороне Белого движения, эмигрант.

годов<sup>3</sup>), работать то в качестве бухгалтера, то чернорабочего, то сотрудника районных газет, где, к счастью, не интересовались его биографией. Бились в поисках выхода мама и бабушка, мать Б.С. Неводова. Помогали добрые люди.

Необходимость подчиняться закону политизации была бичом не для одного лишь Б.С. Неводова-писателя. Вот что записывает М.М. Пришвин в своем дневнике за 1930 год: «Становится ясным невозможность дальше писать о своем: только производственный очерк, только наблюдение, а мне все это надоело. И еще не хватает сил, чтобы перестроиться на писание не печатаемого в настоящем».

«Производственный очерк» и «невозможность писать о своем» – так по-пришвински можно было бы определить состояние Б.С. Неводова. Попытки же «перестроиться на писание не печатаемого в настоящем» носили у писателя эпизодический характер, как правило, ограничиваясь черновыми набросками.

Настоящая книга – не монография и не критико-биографический очерк, но и не мемуары в их чистом виде. Работая над ней, я стремился совместить рассказ о формировании писателя с воспоминаниями о своем отце. В отдельных случаях я обращался к материалам автобиографии отца, к его рукописям, к его официальной переписке. Черпая материал из запасников своей памяти, я стремился нарисовать портрет своего родителя – писателя и человека. Я не могу отделить одно от другого, как не могу отделить себя от своего отца. И поэтому говорю немало и о себе, и о судьбе родного мне человека, ставшего жертвой своей эпохи.

## Глава 1. Писатель

Размышляя о судьбе отца, я все чаще задаюсь вопросом о том, что определило выбор им своего жизненного поприща и как и когда он начал формироваться как писатель.

Насколько мне известно, в нашем роду не было профессиональных литераторов. О моем прадеде Б.С. Неводов писал:

«Дед, малограмотный казак, после сильного пожара совершенно разорившись, переехал из поселка Атаманского<sup>4</sup>, ныне Советского, в Уральск<sup>5</sup> и занялся бахчеводством. Сына же, моего отца, отдал учиться, и благодаря случаю отец стал офицером».

Этот случай – участие в Русско-японской войне. Отвоевав и оказавшись в Царстве Польском, мой дед поступил на службу и стал железнодорожником на одной из станций севернее Варшавы. Здесь женился на польке, происходившей из мелких почтовых служащих. Их единственным сыном и был мой отец. Б.С. Неводов очень скупно рассказывал о своих родителях. В одной из своих автобиографий он цитирует письмо моего деда с фронта, и, судя по этому письму, дед не был лишен литературного дара, хотя никакого отношения к литературе не имел. Бабушка же, мать отца, была, видимо, достаточно образованной и начитанной женщиной. В детстве я жадно слушал ее рассказы о принцах и принцессах, заколдованных замках, о нравах и обычаях Древнего Рима и мучениях ранних христиан. Позднее я понял, что источником ее рассказов были европейские литературные сказки и роман Г. Сенкевича «Камо грядеши». Очевидно, она сумела внушить своему сыну, будущему моему отцу, любовь к образному слову.

Знакомство с архивом и литературным наследием отца убеждает в том, что, отдавая дань современной тематике, Б.С. Неводов с самых первых своих творческих шагов тянулся к уральскому казачьему материалу. Его первый рассказ «Кусочек жизни», опубликованный в 1925 году еще в Уральске, был основан на биографии моего деда, впрочем, сильно измененной. В раннем рассказе «Кубатка молока», написанном в том же 1925 году, отец явно использовал свой

---

<sup>3</sup> Вероятно, Ю.Б. намекает на голодные годы в СССР в начале 1930-х. Тогда массовый голод охватил ряд регионов СССР, в том числе Украину, Поволжье, Северный Кавказ и Казахстан. Он связан с насильственной коллективизацией, изъятием зерна на продажу за границу, индустриализацией.

<sup>4</sup> Советский – поселок в Первомайском районе Оренбургской области; до 1921 года – Атаманский, ранее – Гниловский (Гнилой умет), станица Соболевская.

<sup>5</sup> Уральск – город в Западно-Казахстанской области Казахстана, административный центр области. Основан в 1613 году как укрепление Яицкого казачьего войска (позднее – Уральского). Важный торговый, культурный и административный центр региона. Расположен на реке Урал, вблизи границы с Россией.

собственный опыт службы в Уральске. И в 1930-е годы, уже живя в Саратове и создавая повесть «Пелагея Черноглаз» (1934), обращенную к современности, и злободневные очерки, составившие книгу «Человек, земля и завод» (1932), он продолжал разрабатывать свою уральскую автобиографическую тему. Итогами этой работы явились рассказ «Могила отца» (1934) и повесть «Где мой сын?» (1936), которые восходят к упоминавшемуся выше рассказу «Кусочек жизни».

Но уральский казачий материал как неактуальный «не шел», оставаясь в рукописи, а первый рассказ как исключение лишь подчеркивал правило. Но не найдя выхода в печать, «Могила отца» и «Где мой сын?» могли послужить той творческой лабораторией, в которой формировался автор будущего романа «Бриллиантовый князь». Иной случай представляет собой судьба незаконченного романа «Дорога на Восток», посвященного строительству железной дороги Уральск – Илецк<sup>6</sup>, куда отец как журналист выезжал в составе выездной редакции<sup>7</sup>. Наброски романа так и остались в черновиках.

Неудача, постигшая автора в этом случае, – поучительный пример творческого «пробуксовывания», когда социальный заказ, диктуемый официальной идеологией, приходит в непримиримое противоречие со своим внутренним, выношенным и любимым. По тем же причинам «несмыкания» внешнего и внутреннего не состоялся замысел и другого, более позднего романа «В степи широкой», относящегося ко второй половине 50-х годов. Тогда уже стало ясно, что на пути художественного освоения современного производственного материала автора ждут провалы или сомнительные удачи. Именно так произошло с повестями «Подвиг» (1947) и «Недра» (1950). И не эта ли неудача «Дороги на Восток» побудила писателя обратиться к историческому роману «Бриллиантовый князь», в границах которого писатель мог обрести относительную художественную свободу и самостоятельность?

Рассказ «Могила отца» и повесть «Где мой сын?», а равно рассказы «Кубатка молока» и «Моя жизнь (Автобиография)» представляют собой разные пути воплощения своей внутренней темы. «Кубатка молока» – единственный случай, когда писатель попробовал себя в жанре «сказа», распространенного в прозе 1920-х годов. История о том, как двое людей из-за излишнего служебного рвения начальника милиции были арестованы по ложному обвинению в убийстве, а затем отпущены, рассказана малограмотным человеком. Корявая речь, как бы выхваченная из густи жизни низов, разумеется, ничего общего не имеет с речью самого автора. Но малограмотные обороты хорошо передают и испуг невинного человека, и его надежды, и нелепость ситуации. А в поступке самодура-начальника угадывается частный случай складывающейся командно-бюрократической системы. Почему писатель не пошел по этому пути сказа? Или почувствовал, что это не его стезя? Или уже знаком был с опытами в области сказа в творчестве М. Зощенко? Для меня этот вопрос остается открытым.

«Моя жизнь», задуманная как автобиография, по сути представляет собой рассказ, более живой и интересный, чем «Кусочек жизни». Переживания мальчика, попавшего на операционный стол и медленно выздоравливающего, эпизод революции в Петрограде, увиденный каким-то «сторонним» взглядом юноши, пока еще живущего своей отдельной жизнью, растерянность и страх при боевом крещении в виде собственной крови, полубред и полужив, когда его, больного и раненого, по тряской дороге отправляют в тыл, – всё это обнаруживает дар незаурядного рассказчика. Но если в «Кубатке молока» автор перевоплощается в другого, что свидетельствует о важном качестве художнического мышления, то в «Моей жизни» писатель говорит пока «от себя».

---

<sup>6</sup> Железная дорога Уральск – Илецк – линия длиной 263 км, соединяющая Уральск (Казахстан) с Илецком (Оренбургская область), введена в эксплуатацию 1 декабря 1936 года.

<sup>7</sup> Выездная редакция – форма организации работы редакционных коллективов в СССР, при которой сотрудники временно размещались на предприятиях, стройках или в колхозах для подготовки материалов на месте.

Набрасывая рассказ «Могила отца» и повесть «Где мой сын?», Б.С. Неволов использовал биографию моего деда<sup>8</sup>, призванного в русскую армию и погибшего в боях с австрийцами летом 1915 года. Но в повести его история сильно изменена и романизирована: волей авторского воображения дед превращен в армейского офицера, оппозиционно настроенного по отношению к самодержавному режиму и быстро перешедшего на сторону большевиков. От подлинной биографии деда оставлено только одно: любовь к польской пани и женитьба. Зато их семейные отношения предстают совершенно по-иному, чем в реальной действительности. Сюжет строится в соответствии с расхожими в ту пору, да и позднее, представлениями о роковой неизбежности столкновения между людьми разных сословий. Правда, семейную трагедию писатель попытался раскрыть психологически, дав не одну, а две правды, что уже было известным творческим завоеванием. Но налет непредвзятости во многом испортил эту вещь. В отличие же от повести рассказ, рисуя эпизод из биографии деда, не привносил в нее семейного конфликта. В фокусе рассказа оказались картина прощания деда-офицера и его сына и письмо деда о чудовищных последствиях братоубийственной бойни на одном из участков фронта. Трудно судить о том, насколько диалог отца и сына в рассказе соответствует сцене их расставания в действительности. Возможно, автор, вспоминая из другого времени диалог со своим отцом, что-то изменил в нем. В рассказчике совмещаются мальчишка-полуребенок, не понимавший, почему родной человек против своей воли должен отправляться на ненужную ему войну, и взрослый человек, корректировавший свои тогдашние впечатления. В повести «Где мой сын?» семейная трагедия как бы сконструирована в соответствии с социальным заказом, в рассказе она пережита изнутри – и дважды: в сознании сначала ребенка, позднее – взрослого. Во втором случае глубокая тоска человека, постигшего бессмысленность войны, смыкается с тоской его сына, потерявшего самого близкого человека и лишенного возможности разыскать его могилу. Рассказ о своем отце автор заканчивает на высокой ноте:

«...Он умер на следующее утро и был похоронен в городке Ново-Място, маленьком полупольском, полужидевском захолустье. Он умер, защищая этот никому не известный городок, не обозначенный даже на карте. Вечером того же дня тяжелая германская артиллерия сравняла с землей и городок, и выросшее за время войны большое кладбище. Ночью городок сдали, и с тех пор он ушел навсегда от России. Смерть отца стала бессмысленной и никому не нужной...

Я не знаю могилы отца. Я не знаю, где лежит его труп. Не знаю, куда бы можно было прийти и произнести, как древнюю, языческую клятву на могильных курганах...»

Заканчивают рассказ несколько оптимистических фраз, которые, очевидно, должны были продемонстрировать веру автора в будущее. Но эти фразы нарушают тон повествования и воспринимаются как необязательный привесок.

\*\*\*

Ко времени работы над «Пелагеей Черноглаз» и романом «Бриллиантовый князь» писатель обнаружил дар рассказчика и умение всматриваться и вслушиваться в жизнь. И самое главное, что, собственно, и формирует художника слова, – способность перевоплощаться в другого и говорить его языком.

В повести «Пелагея Черноглаз», построенной преимущественно на бытовом материале действительности 1930-х годов, жизнь заговорила множеством голосов: колючей, ершистой Пелагеей, умеющей постоять за себя, рабочего партийца Ляпина, суховатого функционера, требующего ото всех «настоящей установки», вчерашнего мужика Ивана Баннова, скрывающего за елейностью и тихостью взрывной и опасный характер, нервного, быстро теряющегося в сложной обстановке интеллигента Григория Черноглаз, трусоватого Оси.

«Пелагея Черноглаз» – важное творческое завоевание автора, мера его сильных и слабых сторон. Противоречия повести – противоречия между социальным заданием (так надо!) и придавленной правдой, способной, однако, неожиданно заявить о себе. И тогда акценты,

---

<sup>8</sup> Семен Парамонович Неволов (1872–1915) – есаул 3-го Уральского казачьего полка, погиб в годы Первой мировой войны.

расставленные в повести, смещались, и читатель (особенно с течением времени) мог вычитать свое, противоречащее художественному замыслу автора.

Художественное произведение – это вторая действительность, живущая по своим внутренним законам. Она сопротивляется произволу и насилию извне. И если писатель хочет, чтобы ему и его героям поверили, он обязан в какой-то степени полюбить их всех и вжиться в них. По замыслу отца, трагедия его главной героини Пелагеи должна вызвать боль и сожаление. Безвременная гибель молодой женщины, действительно, порождает сопереживание. Но и поступок ее убийцы Ивана Баннова наводит на размышления, не сводящиеся лишь к суду над героем. Свое право на сочувствие и у Григория Черноглаз, из-за своей доверчивости ставшего жертвой административной расправы.

У каждого персонажа – своя правда. По-своему права Пелагея, возмущенная материальным неравенством и жаждущая более обеспеченной жизни: «Что мне твоя пятилетка! Я сейчас хочу...». Но свои резоны и у ее врага Баннова: «Может, она права, но только и я хочу жить и есть», – пишет он в своем заявлении после ареста.

Сначала Пелагея, живущая лишь сплетнями и интересами желудка, завидует оборотистому Баннову. Но превратившись под влиянием Ляпина в активистку, она уже ради идеи начинает преследовать и травить своего соседа. И последний, обнищавший и загнанный в угол, мстит за свою «поруганную» жизнь.

В повести открывается лишь часть правды о Баннове и его столкновении с властью. Не исключено, что этот персонаж был одним из тех хозяев, которых разорили и выжили из деревни.

Пелагея видит в Иване только врага: «Смотрите, – кричит она в карточном бюро, – это <...> настоящий кулак, летучий вредитель. С братом Павлом колхоз разорили, по ветру пустили!..» А вот слово самого Ивана. «А насчет хлеба скажу тебе, – говорит он Осе, – имею полное право на него. Мой же брат Павел сеял, и я без хлеба должен остаться?» – «Его посадили?» – спрашивает Ося. «Упрятали. Кулак, говорят, вредил. Это мужик-то вредил!.. Кому вредил, скажи. Мне, тебе?»

За этим противостоянием – объективная картина коллективизации, какой она представляла в прошлом. Честность писателя, близко соприкасавшегося с этой кампанией, побудила его ввести в повесть эпизод: письмо Григория Черноглаз своей жене с хлебозаготовок, в котором он сравнивал коллективизирующуюся деревню с потемкинской. И хотя крамольный для того времени текст вложен в уста врага, некоего аспиранта, повесть немедленно была изъята и более никогда не переиздавалась. Настолько опасным показался тогдашним идеологам этот фрагмент.

Поступки героини, заложившей и мужа, и соседа на страницах повести и за ее пределами, в самой реальной действительности, представляли как подвиг. Однако эффектная оценка коллективизации взрывала изнутри официально-казенную риторику и во многом сводила на нет тот социальный заказ, который пытался выполнить автор. Противился этому заказу и лирический герой повести, лишь отчасти связанный с образом Пелагеи.

«Под окном цвела яблоня, – так начинается повесть. – Вся в белом, как девушка, собравшаяся на свидание, прихорашивалась, засматривалась на весеннее солнце; нежилась утренними зорями, и тогда ветви покрывались тяжелым серебром росы...» Образ яблони – увертюра повести и символ вечности, вбравшей в себя земные преходящие трагедии и социальные распри.

Пока повесть еще не была запрещена, поэт Виталий Волков<sup>9</sup>, позднее репрессированный, успел надписать на авторском экземпляре шуточный стихотворный текст:

---

<sup>9</sup> См.: Голицын А. Поэт Волков и политические анекдоты. Волга. 2021. № 7–8 (<https://volga-magazine.ru/7-8-2021-desc/> и <https://magazines.gorky.media/volga/2021/7/poet-volkov-i-politicheskie-anekdoty.html>).

О Вадиме Земном и других саратовских персонажах см. публикации Алексея Голицына: Земной и Мухина. О быте и нравах саратовских писателей времен Большого террора. Волга. 2017. № 1–2 ( <https://volga-magazine.ru/1-2-2017/> и <https://magazines.gorky.media/volga/2017/1/zemnoj-i-muhina.html> ); «Оздоровить здоровой кровью». Последствия одной жалобы в Союз писателей СССР. Волга. 2017. № 3–4 ( <https://volga-magazine.ru/3-4-2017/> и <https://magazines.gorky.media/volga/2017/3/ozdorovit-zdorovoj-krovju.html> ).

Юбку новую порвали  
И подбили правый глаз...  
Все за то, что покупали  
«Пелагею Черноглаз».

В повести узнается наш Саратов, узнаются его история и довоенная современность, атмосфера общественной жизни тех лет, город писательского созревания отца, принесший ему столько горя и радости и потому, наверное, так любимый им.

Есть несколько конкретных примет времени и места, которые прямо указывают на то, что действие повести происходит именно в нашем городе.

«Город лежал внизу, – писал Б.С. Невонов. – Он давно уже сполз с горы в равнину, улегся вдоль древней реки, вытянув далеко по берегу свое огромное каменное тело. Город образовался в дни татарского владычества <...> видел струги Степана Разина <...> пережил безнадежное уныние и тупость глухой российской провинции <...> Обзавелся университетом, десятками институтов, клиниками, железной дорогой, пароходами, несколькими заводами и фабриками. Оделся, как щеголь, в асфальт, вскинул электрические фонари и к революции подоспел чистым, нарядным, университетским волжским городом...»

Узнаются и некоторые бытовые и иные реалии, которые отец мог использовать в своей повести. Трагические события происходят в «Пелагее Черноглаз» в «доме с мезонином». Припоминаю, что напротив дома, в котором наша семья прожила много лет, располагался небольшой двухэтажный дом. Во дворе его имелась лестница, соединявшая первый и второй этажи и завершавшаяся небольшим куполом, напоминавшим мезонин. Однажды, где-то в начале 1930-х годов, наша улица и прилегавший к ней район были взбудоражены трагедией, разыгравшейся в этом доме: муж зарезал свою жену. У двора и дома долго толпился взволнованный народ, старавшийся проникнуть внутрь и увидеть вынесенный во двор матрас, на котором, как говорили, было много пятен крови. Не этот ли эпизод послужил толчком к работе творческого воображения писателя?

Узнаваемы, по крайней мере для меня, и некоторые особенности нашего уличного и дворового быта. За Иваном Банновым стоит вполне реальный прототип, хотя и сильно трансформированный. Это один из наших соседей, человек крайне ограниченный, но необычайно самодовольный, которого отец метко окрестил Иваном Блаженным (кличка Ивана Баннова в повести – тоже «Иван Блаженный»).

Помню, что наш сосед любил эпатировать людей, прежде всего молодых. Встретив кого-либо во дворе, он затевал совершенно нелепый разговор. «Ну как?» – обычно спрашивал он. Тот, к кому он обращался, недоуменно пожимал плечами или отделивался невразумительной фразой. «Ну и что?» – продолжал Блаженный. Снова – неопределенный ответ. «Ну и как учеба?» – не унимался Иван. Блаженный, видно, и не ожидал какого-либо определенного ответа, ибо интересовался он только одним – самим собой. С этой фигурой, врезавшейся мне в память, связан один забавный случай. Как-то однажды, когда было особенно жаркое и душное лето, я в ту пору еще мальчишка-подросток, решил переночевать во дворе. Дело было до войны, и тогда такая ночевка не представляла опасности. Улегся, уснул, но среди ночи был пробужден каким-то шумом. Приподнявшись, я увидел, как по двору мечется кто-то в белом. Спросонья я подумал, что это оборотень, рассказов о которых у нас во дворе было немало. Никогда не имея дела с нечистой силой, я сильно перепугался. А человек, как оказалось, в одном нижнем белье, продолжал нарезать круги по двору. Постепенно освоившись с темнотой, я узнал в странной фигуре Ивана Блаженного. Зачем он ночью в неглиже выскочил во двор, я так и не узнал.

И еще один момент, казалось бы, совершенно случайный в повести. Это упоминание Ляпина о своем сыне. «Люблю завод, то есть так, сказать не могу, – рассказывает он Пелагее. – Как своего сына Леньку. Нервов, труда тут нашего – уйма. Когда Ленька заболел дифтеритом,

три ночи провел в больнице у его кровати. Сижу, думаю: какого большого вырастил, а он вдруг умрет...»

Под Ленкой имелся в виду, видимо, я, переболевший в детстве тяжелой формой дифтерии и одно время находившийся между жизнью и смертью.

«Пелагея Черноглаз» – рубеж в творчестве писателя. С одной стороны, Б.С. Неводов продолжал разрабатывать современную социально-производственную тему, что нашло претворение в повести «Дерзание», в романах «Дорога на Восток» и «В грозу», а также в позднейших его произведениях, с другой – ушел в исторический материал, создав роман «Бриллиантовый князь». «Производственный очерк» все более давал сбои, краски вымысла тускнели, что уже давало о себе знать в повести «Дерзание» и романе «В грозу», не говоря уже о незавершенной им вещи – «Дороге на Восток».

В «Пелагее Черноглаз» и «Дерзании» слабость производственного материала компенсировалась в первом случае сочным изображением быта и некоторых типов, а также острой, почти детективной интригой, а во втором – свежестью зарисовок детства героя и динамичностью повествования. В дальнейшем, если не считать романа «В грозу», явившегося полуудачей писателя, утрачивалось и это.

\*\*\*

Работая над романом «Бриллиантовый князь», отец погружался в историю России XVIII столетия. Он изучил множество исторических документов, в том числе и таких интересных, как книга И. Долгорукого «Капище моего сердца» или воспоминания Ф. Вигеля. В известной мере освободившись от жестких и нормативных требований официальной современности, автор, вероятно, почувствовал ту творческую свободу, без которой немыслима никакая настоящая работа художника слова. Именно эта свобода и обеспечила творческий успех. Очень характерно, что к созданию романа (первоначальное его название «Куракинская старина») отец приступил в 1937 незабываемом году. Живые зарисовки крестьянского быта, нехитрых народных праздников: свадеб и посиделок, точно схваченные типы, будь то веселый и смелый Парамон, его степенный брат музыкант Панфил или юный Филька, пригожая и своенравная Настенька или философски равнодушный к миру кабацкий сиделец Сысой, внешне благопристойный князь Куракин – во всем этом отец находил и утверждал себя как художник исторической темы. И снова, как в «Пелагее Черноглаз», перед нами не одна, а две правды. Своя правда у замордованных мужиков и у скучающего в пензенской глуши князя. Мы понимаем каждого и сопереживаем и драме семьи Грошевых, разбросанной волей князя по белому свету, и трагедии Фильки и Настеньки, и хандре Куракина, оторванного от своего друга цесаревича Павла, от Петербурга и от предающегося флирту и светским развлечениям королевского Версаля. Вживаясь в своих героев, писатель обнаруживает качества сердцевода, умеющего заразить читателя определенным настроением. Переживания лакея Базиля, вынужденного отдать свою дочь князю для его ночных утех, смерть деда Савелия после экзекуции, дерзкий бунт Парамона, повторенный затем его сыном Филькой, игра музыканта в заплеванном кабаке, первый танец Настеньки на княжеском балу, ее самоубийство и горе Фильки – все это следует отнести к лучшим страницам романа. В лихой пляске Парамона я узнаю самого автора – отца, танцора, бравшего некогда призы в дореволюционном Уральске. Именно здесь, на одном из гимназических вечеров мой юный отец встретился с юной Катей, моей будущей мамой, и их танец был признан лучшим.

Вспоминается село Куракино 1937 года, где одно лето жила наша семья, а отец работал над страницами «Бриллиантового князя». Тогдашнее Куракино<sup>10</sup> мало походило на нынешнее.

---

<sup>10</sup> Куракино – село в Сердобском районе Пензенской области, административный центр Куракинского сельсовета. Основано до 1710 года на землях князя Бориса Ивановича Куракина. В 1790-х здесь была построена усадьба с парком, спроектированная Джакомо Кваренги. После революции усадьба пришла в упадок, сейчас ведется ее реставрация.

Еще не были загажены остатки княжеского дворца, сожженного взбунтовавшимися мужиками в 1905 году. Рядом с развалинами дворца был еще лес. Сохранилась в ту пору высокая крутая лестница, соединявшая дворец с рекой Сердобой. И сама река была в то время совершенно чистой. Да и пили в старом Куракине значительно меньше, чем ныне. Куракино, насколько я его помню по 37-му году, жило бедно, запомнились бледные лица детей и женщин. В бывших княжеских службах располагалась партийная школа. И курсанты яростно сражались на волейбольной площадке. Я хорошо помню особенно ловкого спортсмена Андрея Ивановича Андреева, любимца собравшейся публики.

Помнится зал в одном из помещений партийной школы. Масса народа и много местных сельчан. Президиум. За столом вместе с руководством – отец. Он нервничает и, как всегда в минуты волнения, протирает платком свои очки. Он читает фрагменты своего романа «Бриллиантовый князь». Чувствовалось, что слушателям интересно: ведь действие романа происходит как раз в этих пензенских местах. Потом начинается обсуждение. Не помню подробностей, но в памяти сохранилась общая атмосфера праздничности. Кто-то хвалит, кто-то критикует. Запомнилось выступление одного крестьянина, который, в частности, заметил: «Вот Панфил рассказывает о Пугачеве и пугачевщине. Вот это хорошо. Но хотелось бы, чтобы товарищ писатель вставил слово одного из мужиков: “Был, мол, Пугачев, но только попугал бар, а вот придет Метелкин, уж он всех бар-помещиков выметет”». Отец внимательно слушал всех, благодарил, обещал что-то учесть в своей дальнейшей работе. Но вот совет относительно Пугачева и Метелкина не принял. Может быть, в этом предложении уже слишком выпирал социальный заказ? Не знаю, у меня никогда с отцом об этом разговора не было. Теперь сожалею о том, что не спросил его.

Я знаю, что «Бриллиантовый князь» раскупался, читался, обсуждался, хотя некоторые читатели путали роман отца по созвучию с «Князем серебряным» А.К. Толстого. Впрочем, такой параллелью отец, наверное, мог бы гордиться.

\*\*\*

Я был свидетелем того, с каким живейшим интересом отец читал выходявший отдельными частями роман «Тихий Дон». Это была, как я теперь понимаю, хорошая творческая зависть. Но к этой зависти, должно быть, примешивалось мучительное чувство: писатель страдал от осознания невозможности обратиться к разработке своей любимой уральской казачьей темы. Я знаю, что в его замыслах была повесть о жизни уральской казачьей станицы периода коллективизации. Но он был вынужден отказаться от этого замысла как слишком рискованного и практически невозможного для него. Да и урок, связанный с запрещением повести «Пелагея Черноглаз», не прошел для писателя даром.

И все же казачья тема упорно жила в его творческом воображении, давая выход то в некоторых произведениях («Кусочек жизни», «Где мой сын?», «Могила отца», «Казак Вяхирев»), то в отдельных фрагментах его романов «Бриллиантовый князь» и «Дорога на Восток».

В повесть «Где мой сын?» включена старая казачья песня, которую поют, отправляясь на империалистическую войну, уральцы. Эта песня дана в восприятии героя-повествователя, армейского офицера:

«Запевала медленно, растягивая слова, выводил немного грустную, тягучую и величавую мелодию:

– На-а кра-ю-ю-ю... Руси обши-и-рной

---

Вдо-оль Ура-а-ала берего-ов...

Он тянул последний слог долго, то повышая, то понижая голос. Хор дружно и разноголосно подхватил. Выделялся подголосок, он метался над всеми голосами, покрывал их, пронзительный, сильный и тоненький. Делалось страшно за певца, не верилось, что так по-детски высоко может петь мужчина.

– Прожива-а-ает ти-ихо, ми-ирно  
Войско кро-овных казако-о-ов.  
<...>

Запевала выводил следующий куплет:

– Знают все икру Урала  
И уральских осетров...

Хор подхватывал и снова тоненько-тоненько звенел подголосок:

– Только знают очень мало  
Про уральских казаков.

И долго я еще слышал в вечерней тишине эту песню, ее медленный, слегка грустный напев, широкий и плавный, как степь.

Кстати, именно эту песню мне пела старая казачка, с которой меня свели в Уральске, когда я разыскивал истоки песенного фольклора в творчестве своего отца.

В повести «Где мой сын?» есть еще один эпизод, в котором фигурируют казаки-уральцы и воспроизводится их колоритная речь. Она была известна автору, надо думать, не понаслышке. Отец мог знать о нравах и быте уральского казачества отчасти по собственным впечатлениям, но главным образом из рассказов своего отца и своего дяди<sup>11</sup>, а также из сочинений историка Урала И. Железнова, автора книги «Уральцы»<sup>12</sup>, которая у нас дома была своего рода священной реликвией.

В романе «Дорога на Восток» введен пейзаж Уральска 1930-х годов, данный через восприятие молодого рабочего, случайно оказавшегося в городе. И тут же излагается история этого города. Этот очерк слабо связан с основными событиями романа. Но чрезвычайно характерно, что автор не прошел мимо возможности еще раз войти в этот мир, столь близкий ему по впечатлениям юности и молодости. Кстати, в Уральске на улице Орджоникидзе, бывшей площади Железнова, до последнего времени стоял маленький одноэтажный дом, принадлежавший некогда моему деду и его сестре. Там после эвакуации из Варшавы жили мой отец и его мать. Там родился я. Ныне этого дома уже нет.

В «Бриллиантовом князе» беглый Парамон, пойманный людьми князя и силой возвращенный в Куракино, рассказывает Фильке о своей встрече с яицкими (уральскими) казаками. Он намекает сыну на то, что в случае его (Фильки) побега он сможет осесть на яицких (уральских) землях, ибо там «беглых привечают».

Особенности биографии отца помешали ему обратиться к фундаментальной разработке любимой его темы. Это была трагедия писателя и человека. Кто знает, сложись его судьба по-

---

<sup>11</sup> Скорее всего, речь идет об Аммосе Парамоновиче Неводове (1887(9)–1932), брате Семена Парамоновича Неводова, ветеринарном враче.

<sup>12</sup> Иоасаф Игнатьевич Железнов (1824–1863), казачий писатель, этнограф и исследователь быта уральских казаков. Его наиболее известная работа – «Уральцы. Очерки быта уральских казаков» (первое издание – 1858, переиздавалась в 1888 и 1910 годах).

иному, не обогатилась бы наша литература хорошим романом о «Яике-Горыныче»<sup>13</sup> и воинственном казачьем племени, внесшем заметный вклад в историю нашего Отечества.

И как порадовался бы ныне отец, узнав о восстановлении казачьего круга на Урале, на Дону и Забайкалье! С каким бы наслаждением слушал свои любимые песни в исполнении хора уральской станицы Круглоозерной при участии представителей донского казачества и артистов Саратовской государственной филармонии!

## Глава 2. Обвинения и защита

Мне уже пришлось говорить об одном периоде в жизни Бориса Семеновича, сыгравшем едва ли не роковую роль в его дальнейшей судьбе. Через двадцать лет после окончания гражданской войны, уже являясь известным журналистом, сотрудником партийной печати и автором нескольких книг и сборников, он был привлечен к уголовной ответственности и провел несколько месяцев в следственном изоляторе. Изолятор находился в подвальном помещении известного здания горсовета<sup>14</sup>, и я, тогда еще мальчишка, хорошо помню, как мама носила туда отцу передачи, помню также и то, как отец вернулся домой. Он похудел, почернел, оброс и стал неожиданно похож на Чернышевского. Это сходство бросилось мне в глаза через много лет, когда, перебирая семейный архив, я среди прочих снимков нашел и эту фотографию, сделанную сразу же после освобождения Бориса Семеновича. Отец рассказывал о том, что в пору его преследований некоторые знакомые и бывшие сослуживцы, встречая его на улице, перебежали на другую сторону. Среди них был и довольно известный литератор, который в тяжелый период жизни отца сторонился его, обнаружив заячью трусость, а после смерти его упрекал мою маму, что мы плохо ухаживаем за его могилой...

Мне хочется предоставить слово документам, сохранившимся в отцовских бумагах. Это живые свидетельства, характеризующие не только самого отца, но и его время, крик души, наивная, но честная попытка реабилитировать себя.

В заявлениях, адресованных прокурору республики, прокурору Саратовского края, в Западно-Казахстанское Управление НКВД и депутату Верховного Совета СССР от Саратовского края, а равно в автобиографии подробно излагаются и объясняются факты жизни, учебы и службы отца в канун революции и в пору гражданской войны. Я привожу эти официальные письма-заявления вперемежку с купюрами, так как они, во-первых, довольно обширны и заняли бы слишком много места, а во-вторых, порой повторяют друг друга.

*«С весны этого года (очевидно, 1938 года. – Ю.Н.), – писал отец в Управление НКВД Казахстана, – в Саратове (в крайкоме партии, в союзе писателей, редакции краевой газеты) распространилось мнение, что я бывший офицер и принимал активное участие в гражданской войне...»*

*«В дополнение к тому, что я писал прокурору республики, – обращался отец уже к прокурору Саратовского края, – считаю необходимым добавить следующее: после окончания кадетского корпуса в 1917 году корпусное начальство, помимо моего желания, действительно намеревалось сделать меня офицером и направило в военное Николаевское кавалерийское училище в Петрограде...»*

*В Петроград я прибыл 5 октября по старому стилю 1917 года. После Октябрьского переворота (в нем училище никакого участия не принимало), когда училища декретом правительства были расформированы, я снова вернулся в Уральск, пробыв в Петрограде всего лишь три недели».*

*«По происхождению я уральский казак, – писал отец третьему корреспонденту, депутату Верховного Совета СССР. – Мой отец – сверхсрочник, на японской войне получил офицерский*

---

<sup>13</sup> «Яик-Горыныч» – это народное, ласковое и одновременно уважительное прозвище, которым уральские (яицкие) казаки называли свою главную реку – Яик (ныне Урал).

<sup>14</sup> Скорее всего, имеется в виду здание в Саратове на ул. Первомайской, 78, где сейчас располагается администрация города.

чин, после войны вышел в запас, служил в Польше на железной дороге <...> в 1914 году уехал на войну, а в апреле 1915 года умер от раны, полученной в бою с австрийцами. Я как сын офицера был определен в кадетский корпус... И вот то, что я стал сыном офицера и учился в кадетском корпусе, и составило мое первое “преступление”. Весной 1917 года мы с матерью, – продолжал Борис Семенович, – переехали из Москвы на родину отца, в Уральск, где я поступил на работу в кооперативную контору “Единение”. В ней проработал до начала 1919 года, когда по мобилизации моего года рождения (родился в 1900 году) был призван в казачью белую армию. В белой армии находился в обозе 4-го конного полка рядовым 3 месяца, в 36-м конном полку тоже рядовым, около 4-х месяцев, и в корпусном интендантстве писарем 3 месяца, а всего около 10 месяцев. И вот за эти-то 10 месяцев мне приходится расплачиваться сейчас через 20 лет. Это – второе мое “преступление”. И третье. В 1932 году, во время моего отсутствия (я был командирован в деревню на хлебозаготовку), мою квартиру проездом через Саратов посетил зять моей жены, бывший белый офицер. Впоследствии выяснилось, что он находился в концлагере и бежал оттуда. И когда я вернулся из командировки, меня задержали органы ГПУ, обвиняя в пособничестве белому офицеру. Недоразумение вскоре выяснилось, меня освободили, я продолжал работать в советской печати. Но на репутацию уже легла тень (“сидел”), и когда людям это понадобилось, они приставили к первым двум и это мое третье “преступление”...»

Далее отец касается все той же версии о том, что он якобы был белым офицером.

«Эти слухи были настолько упорны, что весьма серьезно отразились на моей судьбе. Так, например, в 1934 году редактор областной газеты Казымов без всякого объяснения причин предложил мне уйти с работы. И только год спустя в частной беседе заявил, что считает меня белым офицером. Я вынужден был обратиться в прокуратуру РСФСР, поехал в Уральск, разыскал оставшихся еще в живых участников и свидетелей событий 1917–1919 годов. Я снова восстановил свое алиби; слухи прекратились, но недаром иранская поговорка гласит: “Пожь словно рана, хотя залечивается, а шрам остается”. Шрам остался и очень часто причинял мне боль.

Разобравшись в моих “преступлениях”, ознакомившись с теми документами, которые я прилагаю к этому письму, сами убедитесь, что “преступления” мои ничтожны по сравнению с мерой наказания и что я в них очень мало виновен. В самом деле. Разве я виноват в том, что стал сыном офицера и кончил кадетский корпус? Что я родился в 1900 году, а не годом-двумя позже, и, живя в Уральске, попал в белую армию? Что зять моей жены, бывший белый офицер, зашел в мою квартиру в мое отсутствие?

Я советский гражданин, – продолжал отец, – вырос, воспитался в советских условиях, проведя две трети сознательной жизни на советской работе, преимущественно в партийной печати. Ведь в момент призыва в белую армию мне было без месяца 19 лет, а сейчас без месяца уже 39 лет. Был в Красной армии. В частях морской экспедиционной дивизии проделал поход против Врангеля. Работал в органах милиции. 15 лет сотрудничал в газетах Казахстана и Саратовской области, являлся собственным корреспондентом московских газет “Правда”, “Труд” и журнала “Прожектор”... в 1930–34 годах в Саратове отдельными изданиями вышло несколько моих книг: “Чапаевский зерносовхоз”, “Пелагея Черноглаз” и другие. В 1934 году был принят в члены Союза советских писателей».

Упоминая о работе над романами «Дорога на Восток» и «Бриллиантовый князь» (первоначально названный «Куракинская старина»), включенными в издательский план 1938 года, отец рассказал о тех мытарствах, которые ему пришлось пережить.

«В 1934 году, как я уже сообщал, меня приняли в Союз советских писателей, а в феврале 1935 года местное правление исключило из Союза “за службу в белой армии” и за то, что я “служил” (!) в кадетском корпусе. Подал апелляцию во Всесоюзное правление союза писателей. Но на мои запросы получал неизменно ответ: “Приемочная комиссия ваше заявление еще не разбирала” (это заявление не разобрано и до сих пор)». Далее следует рассказ о хождении по мукам, смахивающий на дурной анекдот и свидетельствующий о том, как несчастье человека использовалось в беспринципной игре политиканов, карьеристов и перестраховщиков.

«Летом 1936 года (после вмешательства прокурора РСФСР), – писал отец, – по предложению члена местного правления писателя Вадима Земного подал вторичное заявление в местное правление о восстановлении меня. Восстановили... Осталось дело за утверждением в Москве, но тут произошло, на первый взгляд, весьма незначительное обстоятельство, которое, однако, круто изменило ход моей истории. Из-за пустой сплетни у меня произошла размолвка с Вадимом Земным. Последствия этой размолвки не преминули сказаться. Земной начал с того, что вдогонку к протоколу о моем восстановлении послал во Всесоюзное правление крохотную бумажонку-пасквиль такого содержания: “До меня дошли сведения, что на Неводова поступил дополнительный материал о его службе у белых. Правда, этот материал требует проверки, но я все-таки снимаю свою подпись с протокола и т.д.” Заявление подписано Земным и его ближайшим сподвижником Степаном Дальним.

Что за материал, куда поступил – неизвестно. Типичный прием “перестраховщиков”. Попробуйте придеритесь! И не правда, и не клевета.

Тем не менее, когда я проездом из Крыма через Москву зашел во Всесоюзное правление справиться о прохождении дела, мне показали этот пасквиль и резонно сказали: раз поступил отвод, мы обязаны временно отложить разбор. И снова вопрос о моем восстановлении был отложен».

Пока отец, получив отпуск, работал в селе Куракино над книгой, усилиями досужих людей ему готовился новый удар. Сам писатель в том же заявлении рассказывает об этом так:

«Из Москвы приехал инструктор Всесоюзного Правления, при его участии было ликвидировано местное правление, а взамен его уполномоченным был избран Вадим Земной. Перед отъездом в Москву инструктор “проинформировался” у Земного, и через неделю в “Литературной газете” появилась обширная статья о делах саратовской организации писателей, и в этой статье снова (в который раз!) припомнилось мне мое пребывание у белых. Есть народная русская пословица: “Не бей каждую собаку только за то, что она собака”. Со мной поступили наперекор этой пословице. Возвратившись из Куракина, я всюду встретил уже иной прием. До отъезда в деревню я работал в редакции областной комсомольской газеты. Вернувшись, пытался восстановить связи с газетой. Попросил дать тему для очерка. Как раз началась кампания выборов в Верховный Совет. Тогдашний секретарь редакции предложил написать очерк... Я охотно взялся и задание выполнил. Плохо ли, хорошо – не знаю, но в редакции приняли. Однако, каково было мое изумление, когда через несколько дней тот же Тимохин вернул мне рукопись <...> заявив, что очерк напечатан не будет.

– Почему? Плохо написан?

– Нет, написан хорошо... Но знаешь ли, после заметки в “Литературной газете”...

Все стало ясно.

Чуть ли не в тот же день я получил приглашение от редакции пионерской газеты на должность литконсультанта. А на следующий день, когда принес первые отрецензированные рукописи, редактор вежливо отказал в работе.

– Обком комсомола возражает против использования вас.

– Почему?

Редактор промолчал. Новый удар.

Вскоре в областном издательстве и.о. директора Лобанов заявил, что местный союз писателей “не рекомендует” издавать мои книги и при мне вычеркнул их из плана, при этом с укором добавил:

– Мы полагали, что с вами можно работать, а оказывается...

– Но в чем же дело, объясните!

– Ступайте в Союз писателей, там вам все объяснят.

А в Союзе писателей вновь все тот же Вадим Земной. Он перечислил пресловутые три моих “преступления” и на прощанье сказал:

– Заниматься с тобой мы не будем.

Так я был лишен возможности литературным трудом, своими книгами отстаивать право на творчество. Так я оказался за бортом литературной жизни. Но это еще не все. Через

несколько дней я пытался устроиться на работу в центральную библиотеку, куда, как мне было хорошо известно, требовались библиографы. И тут произошел беспримерный акт издевательства над человеческой личностью. На моем заявлении <...> были наложены две резолюции. Одна “В приказ. Принять на должность библиографа с 27/XII 37 года с месячным испытательным сроком”. Она была наложена 27 декабря в 10 часов утра. А в 4 часа того же 27 декабря эту резолюцию директор библиотеки зачеркнул и написал другую: “Ввиду того, что необходимость в приеме нового библиографа отпала, в просьбе отказать”. Это ли не издевательство! Я понял, что меня кто-то преследует, кто-то мешает мне жить и работать. 30 декабря я обратился с жалобой к районному прокурору, прося защитить мои права как гражданина СССР. Но прокурор вызвал меня для объяснения лишь через 5 месяцев, 7 мая. Я понял из разговора, что ему очень хотелось прекратить это дело, и я доставил ему удовольствие, заявив, что надобность в разборе заявления отпала. Но она не отпала, она не могла отпасть. Я обратился в бюро жалоб Облисполкома, но завбюро заявил, что писательская организация – дело общественное, добровольное, в компетенцию облисполкома не входит; что же касается случая с библиотекой, то, конечно, директор библиотеки поступил некрасиво, но он волен нанимать кого хочет. Короче говоря – и здесь отмахнулись.

Дважды в течение 37 года обращался в обком партии. Был принят зав. отделом агитации и пропаганды. Он обещал “разобрать дело”. Но вскоре его сместили, а спустя короткое время были разоблачены и сняты с работы как враги народа почти все партийные руководящие работники области, начиная с первого секретаря обкома партии. В течение 1937–38 годов, Вам, вероятно, это известно, партийное руководство области менялось 5 раз, причем 2 раза во главе этого руководства оказывались враги народа...»

На этом можно было бы поставить точку. Отец был восстановлен в правах. Преследования прекратились. Он был принят на работу, снова смог писать и печататься как член творческого Союза и даже принял участие в работе II Всесоюзного съезда советских писателей (1954). Но это был уже другой человек. Что-то надломилось в нем. Ушли годы, а вместе с ними и здоровье. Угасал огонек, еще горевший в его душе. У него хватило сил, чтобы завершить начатый в свое время роман «Бриллиантовый князь». Но ничего более значительного он уже создать не сумел, тем более что любимая его тема – Урал и казачество – продолжала оставаться под запретом.

На жизненном пути Бориса Семеновича попадались разные фигуры: добродушные, равнодушные или злые, грубовато-прямолинейные, которых он порой мог принимать за врагов, или хитровато-осторожные, весьма умело прикидывавшиеся друзьями. Но об одной фигуре, сыгравшей зловещую роль в его (и не только в его) судьбе, следует сказать особо. Я имею в виду местного окололитературного деятеля Ивана Глухоту, придумавшего себе благозвучный псевдоним Вадима Земного. В переписке отца, которая приведена мною выше, это имя фигурирует в достаточно определенном контексте. В нашей семье об этом человеке было немало разговоров. И, взрослея, я уже начинал постигать, что это за птица.

Судьба столкнула меня с ним в самое неожиданное время и в самом неожиданном месте. Шла Отечественная война. Глубокой осенью 1944 года я вместе со своим артиллерийским полком стоял в обороне в Польше, у границ Восточной Пруссии. Однажды меня вдруг вызвали к командиру полка. Недоумевая, что бы это могло значить, я явился по вызову. В блиндаже, помимо нашего командира, находился какой-то незнакомый (как мне сначала показалось) майор. Командир полка представил ему меня: «Вот это и есть лейтенант Неводов». А затем, указывая мне на майора, сказал: «А это ваш земляк, поэт Вадим Земной». Я сразу вспомнил его, поскольку однажды в Саратове присутствовал при обсуждении его повести «Орден Ленина».

«Вот едешь по фронтам, ищешь земляков, – заявил Земной. – Попал к вам в часть. Прошу сообщить мне, есть ли в полку саратовцы. Мне называют тебя. Ну, как живется-воюется, лейтенант?»

Будь это другой человек, я бы, наверное, что-нибудь рассказал о себе и своих товарищах. Но это был тот самый Земной, о котором я так был наслышан у нас дома. И я отделался общими фразами.

И последнее. Находясь как-то в Москве и просматривая газету «Московский литератор», я совершенно неожиданно наткнулся на некролог. И сразу заметил знакомую фамилию. В некрологе говорилось о скончавшемся в повышенных тонах как о талантливом и честном писателе, так много сделавшем для нашей родной литературы. Могу лишь пожалеть, что не скопировал этот в своем роде исторический документ.

### Глава 3. Отец

Мне вспоминается мой отец в разные периоды нашей жизни: в пору моего раннего детства, в школьные годы, в канун Отечественной войны и в послевоенные годы. Сначала это – еще молодой глава семьи, наставник и воспитатель, позднее – стареющий и нездоровый человек, нуждавшийся уже в моей поддержке. Еще до школы он учил меня азам письма и арифметики. Он подбирал книги для чтения, давал мне уроки плавания и игры в шахматы. А желая развить интерес к технике, приобретал для меня машины-игрушки и наборы конструктора. Он пробуждал во мне любовь к природе и постепенно знакомил с особенностями человеческого общения и этики. Отец хотел видеть во мне образованного и всесторонне развитого человека. Не мне судить о том, в какой степени это ему удалось. Со временем он старел и слабел, все чаще жалуясь на перебои в сердце, на боли в почках и на ишиас, который отравил ему последние годы жизни. И все отчетливее понимая, что нужен ему, я шел своему отцу навстречу. Еще в мои мальчишеские годы, когда, вынужденно работая чернорабочим, он стал жертвой несчастья (тяжелым бревном ему отдало руку), я помогал ему умываться и ходил вместе с ним в баню.

Уже после войны он часто вводил меня в курс своих дел, советуясь то по поводу законченного фрагмента своего романа или рассказа, то текста публичного выступления, то в связи с хлопотами об улучшении наших бытовых условий.

В 1945 году, когда я еще находился на военной службе, он подарил мне свой только что вышедший роман «В грозу». На его обложке он написал: *«Моему любимому сыну Юрию – первому литературному моему “секретарю”, самому близкому моему читателю, дорогому критику – дарю эту книгу, плод упорного труда в годы Великой Отечественной войны».*

\*\*\*

Я рос в мире книг и рукописей. С самого раннего детства меня окружали бумаги, исписанные быстрым, неровным и неразборчивым почерком. Если Борис Семенович на какое-то время откладывал свой текст, то уже без помощи мамы не мог его расшифровать. Отец не отличался собранностью и аккуратностью: его бумаги находились в беспорядке. Но странное дело, когда ему срочно требовалось разыскать какую-нибудь бумагу, он сравнительно быстро ее находил. Не находил лишь тогда, когда мама, наводя свой порядок, перекладывала его рукописи. С годами Борис Семенович пытался как-то упорядочить свой архив, группируя материал по определенным рубрикам. Так появились у него папки и толстые тетради, в том числе «кунсткамера» (пестрые мысли, изречения знаменитых людей, а также записи суеверий и предрассудков, случайно услышанных острых и метких слов), стенограммы обсуждений его рукописей, письма-отзывы читателей о его произведениях, отдельные номера саратовских и уральских газет, где опубликованы были его очерки.

В нашей семье поклонялись книге и музыке. Литература была царством отца, музыка – царством мамы.

Книг было немного, но это были очень хорошие книги: Лев Толстой и Чехов в дешевых изданиях, выпущенных как приложение к «Огоньку», юбилейный Пушкин в шести томах, роман Ч. Диккенса «Домби и сын», «Кола Брюньон» Р. Роллана, «Варфоломеевская ночь» П. Мериме, избранные рассказы о животных Ч. Робертса. Было и несколько произведений советских писателей: «Прохиндей» В. Шишкова с дарственной надписью, «Тихий Дон» М. Шолохова, роман А. Яковлева «Победитель», «Цусима» А. Новикова-Прибоя, «Первая девушка» Н. Богданова и «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева. Из произведений саратовских писателей

помню две книги В. Бабушкина «Кузька, Шарышка и Петр Тимофеевич» и «Рассказы старого охотника». Уже когда я стал школьником, отец, заботясь о моем воспитании, стал формировать мою библиотеку. Так появились у меня книги, ставшие «вратами моего детства»: «Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Затерянный мир» А. Конан-Дойля, «Лесная газета» В. Бианки, «Школа» А. Гайдара, «Республика ШКИД» Л. Пантелеева и Г. Белых, «Борьба за огонь» Ж. Рони-старшего и «Девяносто третий год» В. Гюго.

В редкие минуты отдыха отец любил, раскрыв Толстого, Пушкина или Диккенса, читать вслух. Много раз он цитировал «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...», восхищаясь музыкой пушкинских строк. А однажды – я очень хорошо помню этот случай – он, сняв с полки книгу, особенно проникновенно зачитал отрывок, навсегда врезавшийся мне в память. Это был рассказ о маленьком мальчике, который, умирая, рассказывал своей сестре о том, что видится ему:

«Потом он сказал ей, что его убаюкивает скольжение лодки по реке. Какие зеленые теперь берега, какие яркие цветы на них и как высок камыш! Теперь лодка вышла в море, но плавно подвигается вперед. А вот перед ним берег. Кто это стоит на берегу?..

...И снова на стене золотая рябь, а в комнате тишина».

Это был фрагмент из романа Ч. Диккенса «Домби и сын».

Независимо от школьных уроков по литературе и задолго до университетских курсов отец открывал мне дорогу к прекрасному. Правда, он не хотел, чтобы я стал филологом, и советовал избрать какую-нибудь другую специальность, например, геологию. Но приобщая меня к миру образов, он, вероятно, не подозревая об этом, предопределял мой выбор.

Когда я учился в младших классах, отец иногда проверял мои тетради по русскому языку. Однажды произошел довольно курьезный случай. Выполняя домашнее задание, я решил раскрасить свой текст разноцветными карандашами. Но наша учительница по-своему оценила мою работу, вкатив мне жирную двойку. Родитель, просматривая мою тетрадь, наткнулся на оценку и удивился. «Почему двойка? – спросил он меня. – Ведь написано грамотно?» Я пожал плечами. Тогда отец, захватив тетрадь, вместе со мной отправился в школу. Горячий и вспыльчивый, он начал разговор на повышенных тонах. Учительница в долгу не осталась, и спор поначалу принял довольно острый характер. Но потом оба, как бы опомнившись, сбавили тон и заговорили более спокойно, придя к взаимному соглашению. Я же недоумевал: мне непонятно было, как такой пустяк мог взволновать двух взрослых людей. Но все же в дальнейшем, выполняя домашние задания, не раскрашивал их.

Вспоминается еще случай из тех школьных лет. После окончания начальной школы меня перевели в 40-ю среднюю<sup>15</sup>. Директором ее был Григорий Васильевич Сивашов. Отец, желая познакомиться с ним, явился к нему вместе со мной. Хитро поблескивая очками, директор устроил мне небольшой экзамен по конституции и русскому языку. «Кто такой Калинин?» – неожиданно спросил он меня. Вопрос застал меня врасплох. Слыша, как у нас в классе называли Калинина, я выпалил: «Всесоюзный староста!» И отец, и Григорий Васильевич рассмеялись. «Но все же, – настаивал директор, – какой пост он занимает?» Этого я не знал. Потом меня спросили о склонениях существительных, но тут, несмотря на некоторую неуверенность, я все же отвечал правильно. Отец, просматривая газеты, обычно давал их мне для прочтения. После визита в школу он стал делать это чаще.

В старших классах нам задали на дом сочинение на свободную тему. Зная о моих увлечениях, отец порекомендовал мне написать о Фениморе Купере. Я только прочел его роман «Зверобой» и стал писать о людях и природе этого романа. Сочинение получилось хорошее, но теперь-то я понимаю, что оно носило книжный характер. Я и сам как-то стал «сочинять» и написал что-то по-детски наивное о наших уличных играх. Отец очень внимательно прочел мой опус. Не высмеивая меня, он тем не менее раскритиковал рассказ и посоветовал описать какой-либо исключительный и серьезный случай, например, как тонет мальчишка, и его спасает его

---

<sup>15</sup> Ныне – средняя школа № 9 (Саратов, ул. Соляная, 17).

старший товарищ. Но такого случая не было на моей памяти, а сочинять того, чего не знал, я не стал.

В 1936 году после выхода в свет повести В. Земного «Орден Ленина» при Дворце пионеров было организовано обсуждение ее при участии школьников. Отец привел туда меня. В повести, которую читал сам автор, рассказывалось о том, как пионер Витя, проживавший неподалеку от погранзаставы, неожиданно столкнулся в лесу с диверсантами и, обманув бдительность врагов, вывел их из строя с помощью найденной им гранаты. Но при этом сам был тяжело ранен одним из них. А по выздоровлении был награжден высокой правительственной наградой. При обсуждении школьники, не щадя самолюбия автора, указывали на «липу»: всякого рода несообразности и натяжки в повести. Отец очень хотел, чтобы и я сказал свое слово. Но у меня не было навыка публичных выступлений, и я стеснялся незнакомой и большой аудитории. У себя дома я все же был смелее, и когда отец, зачитав какой-либо отрывок из своей вещи, находящейся в работе, просил меня оценить ее, я в меру своих возможностей пытался это делать. Мне трудно судить о том, насколько мои замечания могли помочь ему. Но все же он называл меня своим первым литературным критиком. Со временем я понял, что писатель остро нуждается в немедленном отклике на только что законченное произведение или фрагмент его, так как самому ему трудно судить о том, что у него получилось.

Как-то к отцу напросился на «прием» мальчишка-школьник моего возраста, живший на соседней улице. «Я читатель и хочу знать, о чем пишет твой отец, – заявил он мне. – Народ должен знать своих писателей». Иными словами, он потребовал своего рода отчет у Бориса Семеновича. Самонадеянность и нахальство подростка, видно, хорошо усвоившего уроки демагогии, неприятно удивили отца. Но он все же уделил незваному гостю часть своего драгоценного времени. О чем они беседовали, уединившись в отцовской комнате, я не слышал. Но после встречи отец мне сказал: «Если каждый читатель, да еще такой юнец, будет требовать личной встречи, писателю придется расстаться со своей работой раз и навсегда».

На память приходят два события нашей литературной жизни уже в послевоенную пору. Первое из них связано с обсуждением романа Ю. Трифонова «Студенты» на филологическом факультете университета, на котором я тогда учился, второе – с приездом в Саратов К. Федина в 1949 году.

Отцу очень хотелось знать, чем живет молодежь, и он пришел на обсуждение романа. Аудитория была полна, в ней было немало и наших соседей – студентов-историков. Вообще, надо заметить, что в первые послевоенные годы, когда в студенческую аудиторию влился отряд вчерашних фронтовиков, обстановка в университете была значительно более живой, чем ныне. Жизнь в вузе была ключом, и литературных диспутов было значительно больше, да и были они острее. Вот и на этот раз развернулось интересное обсуждение. Запомнилась речь тогдашнего студента-историка Юрия Давыдова, ныне члена-корреспондента Академии наук СССР<sup>16</sup>. Он говорил о «декорации личности», о том, что герой, выдав себя за талантливого, обманул автора. В числе других выступил и я. И помимо прочего, говорил о том, что современная литература еще не создала героя времени. И при этом бросил взгляд на отца, как бы делая и его ответственным за промахи писателей. Аудитория, часть которой немного знала Бориса Семеновича, весело реагировала на мою реплику, а отец, как мне показалось, был смущен.

Когда в Саратов приехал К. Федин, Любовь Петровна Жак<sup>17</sup>, работавшая тогда доцентом нашего университета, устроила литературный прием у себя дома. На этой встрече мы с отцом

---

<sup>16</sup> Юрий Николаевич Давыдов (1929–2007) – советский и российский философ, социолог, доктор философских наук, профессор, специалист по социальной философии, истории и теории социологии, социологии искусства. Окончил исторический факультет Саратовского государственного университета в 1952 году. Является основателем отечественной школы в области истории и теории социологии, автором ряда фундаментальных трудов по истории социальной философии и социологии XIX–XX веков, а также разработчиком новой версии теории социологии искусства. С 1970 по 2006 год работал главным научным сотрудником и заведующим сектором истории социологии и общей социологии Института социологии РАН.

<sup>17</sup> Любовь Петровна Жак (1907–?) – саратовский литературовед, специалист по русской литературе XX века и устному народному творчеству, преподавала в Саратовском государственном университете, вела спецкурс по творчеству М. Горького.

оказались рядом с профессором университета Александром Павловичем Скафтымовым<sup>18</sup>. Я уловил его грустный, пристальный взгляд. Обращаясь к моему отцу, Александр Павлович вдруг сказал: «Как хорошо иметь взрослого сына-друга». Зная А.П. Скафтымова как человека очень сдержанного, почти аскетического, я очень удивился его словам. Но вскоре, услышав о пережитой им трагедии – смерти сына, понял глубинный смысл произнесенной им фразы. Да, Александр Павлович сказал тогда самое главное. Мы с моим стареющим отцом стали особенно близки. Это была дружба, когда большая разница в годах уже не воспринимается так остро, как раньше. Помню, как в Москве, сразу после войны, мы с отцом встретились в Союзе писателей. И, увидев нас рядом и услышав наш разговор, т. Карцев<sup>19</sup>, один из членов правления тогдашнего Союза, недоумевал, кем мы приходимся друг другу: отцом и сыном или братьями – так молодожаво выглядел Борис Семенович.

На том вечере у Л.П. Жак произошел забавный случай. Исай Григорьевич Тобольский<sup>20</sup> шуточно обратился к К.А. Федину: «Константин Александрович! Напишите что-нибудь. Ну для хохмы!» И протянул спичечный коробок. К.А. Федин засмеялся и написал на коробке: «Для хохмы. Исаю Тобольскому. К. Федин».

Помимо книги, в детстве меня приобщали к музыке. Музыка и пение звучали в нашей семье, особенно когда являлись подруги мамы. Помнится, приходила педагог одного из детских музыкальных учреждений и оживляла наш домашний мирок. Мама, обладавшая незаурядным слухом, и сама музицировала. Аккомпанируя себе, она пела чаще других одну из арий Виолетты из оперы «Травиата» и неаполитанские романсы. Отец, не обладая музыкальными способностями мамы, по-своему любил музыку и песню. Он садился за наше пианино и, наигрывая себе, пел обычно одну и ту же казачью песню «Встала, проснулась зоренька ясная. Слышится звон от подков...» Эту песню он воспринял от своего отца – уральского казака. Как-то, когда уже ни отца, ни мамы не было в живых, я, приехав в Уральск, познакомился с доцентом местного педагогического института Е.И. Коротиным<sup>21</sup>, знатоком уральского казачьего фольклора и автором нескольких сборников. Он показал мне один из них, и я разыскал ту самую песню, которую в годы моего детства напевал отец. Е.И. Коротин включал магнитофон, и я услышал ту же песню в исполнении казачьего хора из приуральской станции Круглоозерной. И как-то сразу пахло детством, уютом нашей квартиры, и как бы вновь зазвучал голос отца...

Не имея музыкального образования, родители отдали меня в музыкальную школу по классу фортепиано, как бы желая увидеть во мне то, чего были лишены сами. Отец, интересуясь моими успехами, иногда приходил в музыкальную школу. А дома, слушая мои упражнения и улавливая порой фальшь, он громко, передразнивая и имитируя мои ошибки, приговаривал: «Ай, врешь! Ай, врешь!» В Липках, переименованных в парк имени Горького, в ракушке нередко располагался военный духовой оркестр и исполнял популярные мелодии. Отец любил приходить туда и брал меня с собой. Помню также, как я благодаря своим родителям смог услышать в детстве оперу Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и был околдован и мелодиями, и красочным оформлением спектакля, и молодыми феями-актрисами.

---

<sup>18</sup> Александр Павлович Скафтымов (1890–1968) – литературовед, фольклорист, этнограф, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Специалист по поэтике и генезису русских былин, творчеству Лермонтова, Достоевского, Толстого, Гоголя, Чернышевского и Чехова, основатель саратовской научной школы литературоведения. Преподавал в Саратовском университете и педагогическом институте, автор фундаментальных трудов по истории и теории литературы, фольклористике и текстологии.

<sup>19</sup> Скорее всего, речь идет об Алексее Дмитриевиче Карцеве (1900–1967) – советском писателе, авторе произведений о железнодорожниках, а также книг военной тематики.

<sup>20</sup> Исай Григорьевич Тобольский (1921–1995) – поэт, автор более 30 книг, в том числе для детей. Заведовал отделом поэзии журнала «Волга».

<sup>21</sup> Евгений Иванович Коротин (1926–2012) – уроженец Уральска, кандидат филологических наук, профессор. Всю жизнь посвятил собиранию и изучению фольклора и истории уральских казаков.

Приобщали меня и к миру драмы. В 1930-е годы на сцене нашего драматического театра еще царил И. Слонов<sup>22</sup>, создавший непревзойденный образ Хлестакова. И я до сих пор вспоминаю блистательную его игру в «Ревизоре».

К сожалению, мне трудно было совмещать учебу в общеобразовательной школе с уроками музыки, и музыкальную школу пришлось оставить. Мне показалось, что отца это обстоятельство огорчило даже больше, чем маму.

Первые мои впечатления об отце носят отрывочный характер. Вот он приезжает из командировки – усталый, загорелый, запыленный. Снимает пиджак и рубашку. Рубашки какого-то зеленого цвета, похожие на военные гимнастерки. И их почему-то очень много, или мне так лишь кажется? И запах самого близкого человека ощущается еще долго. Возвращаясь домой, он всегда привозит какие-нибудь гостинцы для меня и моей сестры Люси. Однажды это чернослив. Его помещают в шкаф, и мы с Люсей, забравшись туда с головой, так что снаружи видны только наши спины и ноги, лакомимся сушеной ягодой. Заметив эту картину, отец с горечью говорит: «Бедные детишки! Ничего не видят хорошего». Это было в начале 30-х годов, когда наша семья, как и многие другие, едва сводила концы с концами. Да и у нас была своя «фамильная» беда, о которой я рассказывал выше. Когда Борис Семенович оставался без работы, маме и бабушке, матери его, приходилось изворачиваться. Бабушка, чтобы заработать немного денег, уходила «в люди», работая по найму. В архиве отца сохранился трагический документ, как раз относящийся к этому времени. Это его письмо к своей матери.

«Дорогая мама! – писал отец. – Как же ты-то будешь жить? Это меня очень гнетет. Главное, я сам-то еще в неопределенном положении: то ли буду в Саратове, то ли в район уеду, то ли “очутюсь” там, куда Макар телят не гонял. Дело мое не закончено, и чем оно еще кончится – трудно предвидеть. Пиши, родная, как ты устроишься. Хорошо бы опять в какую-нибудь семью, или на постоянную работу в столовую, буфет, чайную <...>. Юронька хорошо читает и пишет. Если после девочек останутся книжки, пришли, особенно сказки – он с удовольствием читает, а Люся, разинув рот, слушает. Бедные детишки – и им досталось, все время в забросе, целыми днями сидят в доме запертыми». А далее следует моя приписка: «Баба, мы живы и здоровы, едим ржаные лепешки, с Люсей катаем на пароходе медвежонка». И в самом конце письма – каракули сестренок.

И еще несколько пестрых воспоминаний из моих детских лет. В Турках, где отец работает в редакции местной газеты, родители дают мне первое самостоятельное задание: купить хлеба. Я выполнил задание, а затем, располагая некоторой суммой денег, зашел в магазин «Кульгтовары» и приобрел приглянувшуюся мне игрушечную красную машину. Отец и мама до слез смеялись по поводу моей инициативы. Как-то, уже позднее, отец со мной отправился в совхоз «Ударник» за морковью. Оттуда часть пути пришлось идти пешком. Остановились, чтобы отдохнуть. Отец, достав хлеб и нож, очистил несколько морковин, и мы дружно и хорошо закусили. Кажется, никогда мне не приходилось есть ничего более вкусного!

Вот отец выезжает за город. И я с ним рядом. Мне не очень хочется в лес: меня дома, во дворе и на улице, ждут острые, захватывающие игры со сверстниками: клек, чирик или футбол. Но я подчиняюсь отцу. А он, понимая мое состояние, пытается поправить дело и заменить мне товарищей. Он выстругивает две палки и чирик, который почему-то называется «чимпейкой», и мы начинаем игру. Заметив, что мне скучно, он с горечью замечает: «Не любишь ты природу!» Он точно забывает об огромной разнице лет. Выросший в лесистом углу Польши, севернее Варшавы, он не мог жить без леса и хотел привить эту привязанность мне. Семена, посеянные им, со временем дали свои плоды. Повзрослев, я полюбил лес, вероятно, не менее, чем он.

---

<sup>22</sup> Иван Артемьевич Слонов (1882–1945) – российский и советский актер, режиссер, педагог и общественный деятель, народный артист РСФСР (1938). С 1915 года работал в Саратовском драматическом театре (ныне – Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова), стал основоположником саратовской театральной школы. Среди его лучших ролей – Чацкий («Горе от ума»), Арбенин («Маскарад»), Карандышев («Бесприданница»), Протасов («Живой труп»).

А вот отец, дав мне несколько уроков шахматной игры, начинает со мной очередную партию. Он играл средне, примерно в силу пятой категории<sup>23</sup>, и сначала дает мне «фору»: ферзя или ладью. Но когда я достаточно освоился, мы уже играем на равных.

В Борисе Семеновиче было очень много детски непосредственного, что свидетельствует о добром, незлобивом характере. Он умел радоваться многому: законченному труду – книге или статье, удачной шахматной партии, встрече с умным и добрым человеком, выигранной в доме отдыха или в санатории викторине, походу в баню. И он начинал пританцовывать, с детской прямоотой и непосредственностью, радостно переживая свой успех. Бывало, он раздражался, ссорился, кричал. Но быстро остывал и тогда ходил с виноватым видом. Он не раз говорил мне и маме: «Вот умру – будете вспоминать меня: был шумливый и беспокойный, а все же добрый человек!» Что-то осталось в нем от его юности, когда он в кадетском корпусе шел по физкультуре одним из первых. Уже в немолодом возрасте он тянулся к активным играм. В Черемшанах, где мы как-то отдыхали, я не раз видел, как он играл в волейбол или сражался за шахматной доской. А то принимал участие в художественной самодеятельности, хотя успеха здесь не имел.

В нашей семье всегда жили животные. Еще в Турках, куда отец был вынужден переехать, мы поселились в отдельной, брошенной хозяевами избе. И к нам прибилась голодный бездомный пес. Родители называли его Кутястым. Так он и жил, охраняя и нас, и наше временное жилище. В городе я играл с дворовыми собаками и щенками и не помню случая, чтобы родители запрещали мне эти забавы. А потом в доме появились кошки. Одно время у нас квартировал кот, выросший в большого зверя. Когда он состарился, его называли Пенсионером. Однажды, выйдя на нашу террасу, я в изумлении остановился: кот Пенсионер, вцепившись зубами в кусок мяса, висевший у окна, тащил его к себе, а отец, схватив кота за ноги, тянул его вниз... Это была уморительная сцена. И второй случай. Как-то у нас пропал котенок, и я долго не мог его найти. Однажды, возвращаясь к себе, отец увидел его наверху, между двумя домами: малыш, за что-то зацепившись и испугавшись, жалобно мяукал. И мой родитель, несмотря на свой уже достаточно пожилой возраст, встал на приступку и снял котенка. Это был урок доброты, который остался во мне навсегда.

И еще несколько воспоминаний, часть которых относится к самому моему раннему детству, а часть – к школьным и университетским годам.

В 1934 году в нашу семью приходит смерть. Она врывается неожиданно и страшно.

Быт наш был трудным. Летом мы сильно страдали от жары, а зимой – от невыносимого холода. Квартира была фактически нежилой: угол дома обвалился, внутренняя засыпка осыпалась, температура у нас (особенно в комнате отца) в зимнее время опускалась до 5–6 градусов. Порою замерзали чернила. И родитель, приступая к работе, надевал пальто, валенки и перчатки, на голову водружал шапку-ушанку и зажигал для обогрева большую семилинейную лампу<sup>24</sup>. Я часто слышал, как он топал ногами, чтобы согреться. Вот в такой обстановке зимой сначала заболел я, а потом – и моя маленькая сестренка Люся. Отстоять ее не удалось. Помню, как она умирала и как метались родители и обе бабушки, пытаясь что-то сделать и как-то облегчить ее страдания. Она умирала в морозный день, лепеча в предсмертном бреду о каких-то птичках и маленьком воробушке... Когда все кончилось, и ее тело лежало в гробу, отец, глядя в лицо мертвой дочери, со слезами на глазах говорил: «Какая красавица! Не уберегли...» А через некоторое время пришла еще одна смерть – умерла от кровоизлияния в мозг моя бабушка, мать Бориса Семеновича.

Хорошо помню, как, опустившись рядом с ее гробом, он произнес фразу, которая поразила меня: «Ну вот, теперь я один!» – «Как же так, – подумал я. – А мама, а я, а другая бабушка?» Я хотел сказать ему об этом. Но что-то удержало меня. Какая-то пока неведомая, но страшная истина, лишь смутно угадываемая мною, послышалась мне в этих словах. Повзрослев, я понял,

---

<sup>23</sup> Одна из начальных категорий в игре.

<sup>24</sup> Семилинейная лампа – керосиновая лампа с шириной фитиля 7 линий (около 18 мм). Такое название она получила по размеру фитиля и часто именуется также «семилинейка».

что утрата матери – самое страшное, что может пережить человек, и, независимо от своего возраста, он становится сиротой.

А вот еще одна смерть, как всегда неожиданная, загадочная и страшная. Летом мы живем в Хвалынске, снимая маленькую террасу. Утром, когда солнце робко начинает проникать через занавешенные окна, я вдруг просыпаюсь и слышу шепот отца: «Юренька проснулся?» – «Нет, – отвечает мама, – еще спит». – «Вот и хорошо, – продолжает также шепотом отец, – а то может испугаться». – «А что случилось?» – тревожится мама. «Умер хозяин», – продолжает отец. Мама тихо ахнула. «Вышел во двор покурить, – шептал отец, – и потом поднялся и тут же упал...»

Я, забившись под одеяло, продолжаю делать вид, что сплю. Мне страшно. Но рядом со мной самые близкие мне люди, и страх постепенно проходит. А отец, как и мама, бережет мою еще не окрепшую душу, стремясь по возможности отдалить от меня мысль о неизбежности конца, подстерегающего каждого.

А вот воспоминания другого времени. Как-то зимой, собравшись идти домой, я на школьной вешалке не обнаруживаю своего пальто. Пальто было очень хорошее, из английского сукна. При тогдашних дефицитах и бедности эта пропажа может нанести чувствительный урон нашему бюджету. Но самое тяжелое – болезненное чувство от соприкосновения с подлостью. Совершенно подавленный я домой и лег, уткнувшись головой в подушку. Пришел с работы отец, и мама в другой комнате что-то сказала ему. Отец подошел ко мне и, ни о чем не расспрашивая, молча остановился у моей постели. Он стоял долго, и я чувствовал рядом с собой его молчание. Без слов между нами установилось то взаимопонимание, которое помогло мне прийти в себя. Позднее, уже в юности, в мою жизнь вошла трагедия. Я был близок к самоубийству. И так же, как когда-то в детстве, я лег на постель лицом вниз и никак не реагировал на расспросы мамы. И снова, как раньше, ко мне подошел отец. И опять он молча встал около меня. Затем произнес лишь одну фразу: «Может, я помогу?» И так как я продолжал молчать, он, постояв еще некоторое время молча, отошел. И снова его молчаливое сочувствие поддержало меня.

Вспоминается, как мы с отцом впервые узнали о начале Отечественной войны. Почему-то 22 июня у нас в квартире радио не работало. Мы с отцом отправились в город. На улице Ленина, неподалеку от улицы Радищева, столкнулись со старинным знакомым родителей еще по Уральску. Он сразу спросил отца: «Ты слушал радио?» – «Нет», – ответил тот. «Немцы на рассвете перешли границу и бомбили наши города. Война...» И тут же знакомый добавил: «Ну да это ненадолго. Ну неделя, две. И все кончится». Надо сказать, тогда очень многие думали так. Наши поражения в первый период войны отец переживал как свою личную беду. Он тяжело вздыхал, выслушав очередное сообщение Совинформбюро. Когда я уезжал в армию, он не провожал меня. Но обняв на прощание, успел сказать лишь одну фразу: «На рожон не лезь!..» Помнится также, что, когда я служил в 1943 году в Пугачеве, меня неожиданно вызвали на узел связи и, сказав, что мне звонят из Саратова, передали трубку. Я услышал треск и далекий, перебиваемый помехами голос отца. Он звал меня, но я ничего не успел ответить, так как связь оборвалась. И хотя прошло с тех пор много времени, и я, вернувшись с войны, прожил с отцом более десяти лет, я всегда сожалел о том, что так и не узнал, что он мне тогда хотел сказать. Это одна из странных загадок жизни. Ты общаешься с близким человеком, у тебя много возможностей поговорить обо всем, но почему-то не хватает времени, все откладываешь на потом. А человек уходит из жизни, и ты испытываешь мучительное чувство неудовлетворенности, даже вины: не успел сказать или узнать что-то очень важное, и теперь уже не поправишь дела.

Вспоминаю две наши встречи в Москве. Одна из них произошла в 1946 году, когда, направляясь в отпуск и списавшись с отцом, я остановился в столице, и в 1954 году, когда я работал в Ленинской библиотеке, и отец приехал на Второй Всесоюзный съезд советских писателей. В 1946 году мне еще 21 год, я еще юн, инфантилен и так многого жду от жизни. Душа жаждет счастья, полноты бытия. И отец, хорошо меня понимая, берет билеты на «Сильву». И вот огни театра, взволнованная, пережившая войну публика и музыка, зовущая к

любви. А рядом со мной самый близкий мне человек. Возбужденный, весь во власти непосредственных впечатлений, я часто комментирую то, что происходит на сцене, а отец, слегка прикасаясь ко мне, успокаивает.

Из встречи 1954 года я помню лишь один эпизод. Мы с отцом идем в мавзолей. Но я только что переболел тяжелой формой воспаления легких, и отец, опасаясь рецидивов, предостерегает меня. Но мы все же идем туда и вместе с другими делаем траурный круг. Да, в марте 1953 года и я, и мой родитель переживаем горе – зачем лгать перед прошлым и обманывать себя и других? Но мера этого горя у каждого из нас своя. Мне тоже надрывают душу траурные мелодии по радио. Но я, человек другого поколения, все же менее своего отца был подвержен культу личности.

\*\*\*

Я подхожу к последнему периоду жизни Бориса Семеновича, его болезни и смерти. Жизнь уготовила ему немало тяжелых испытаний: трепанация черепа в детстве, гибель отца и полунищее существование на жалкую пенсию матери, годы учебы в военном училище с неизбежными насмешками сильных над слабыми, гражданская война и ранение, борьба за существование, преследование за вину, в которой он объективно не был виноват, смерть дочери и матери, чудовищный быт, вечная работа на износ и сознание того, что он пишет не о том, о чем бы ему хотелось.

Отец скончался 5 июля 1957 года. После перенесенного инфаркта он получил путевку в санаторий «Октябрьское ущелье», и я сопровождал его туда. В ту пору я начинал свою трудовую деятельность на кафедре русской литературы в университете, и отец, успев узнать об этом, очень радовался за меня. Но мне, как всякому начинающему, было трудно, и остро не доставало времени, я не мог уделять тогда своему родителю того внимания, в котором он так нуждался. Я знаю, он переживал это. Со временем я понял, что никакой занятостью нельзя было оправдать мою тогдашнюю отрешенность от всего, что не связывалось с моей работой. И чем более отдалается время, чем больше я сам приближаюсь к своей собственной роковой черте, тем отчетливее я понимаю свою вину. Груз этой вины давит меня. Слабым утешением служит наша – моя и мамы – тогдашняя вера в то, что отец еще выздоровеет и снова займет свое место в нашем семейном кругу. Это была иллюзия, которая рассеялась однажды быстро и страшно.

В начале июля я, получив пищевое отравление, ослабевший и угнетенный, находился на постельном режиме. Неожиданно раздался телефонный звонок. Мама подняла трубку – звонили из санатория. По разговору я понял, что отцу плохо. Но мы еще не знали, что все уже кончено. Мама и мой младший брат Владимир, которого ныне тоже уже нет в живых, отправились в санаторий, а я остался. Вдруг раздался новый звонок. Звонила главный врач санатория. «Почему вы не приехали?» – спросила она. «Я болен и лежу», – ответил я. «А вы знаете, – продолжала врач, – что ваш отец умер?». Эти слова меня оглушили. И я как-то сразу отключился и ушел в себя, пытаюсь постигнуть эту открывшуюся страшную правду. Врач, обеспокоенная моим молчанием, старалась как-то отвлечь меня и разрушить мою сосредоточенность на одном. А я никак не мог выйти из своего шока. Голос врача звучал как-то издалека и раздражал меня. Прошло еще несколько минут. И снова звонок. Я не хотел подходить к телефону, но телефон звонил настойчиво, и я понял, что это междугородняя. Я взял трубку.

«Вам звонят из “Литературной газеты”, – сказал мужской голос, явно принимая меня за моего отца. – Вы давно обещали нам материал. Но время идет, а материала нет». – «Я вам ничего не могу сказать», – ответил я. «Так вы не Борис Семенович», – догадался мужчина. «Нет, я его сын». – «А нельзя попросить Бориса Семеновича?» – «Нет, нельзя». – «Почему?» – удивился мужчина. «Он умер», – с трудом выдавил я из себя. «Когда это случилось?» – «Полчаса назад». Я услышал восклицание. Мужчина стал выражать соболезнование и извиняться. Но мне уже было не до этого.

Все дальнейшее – панихида во Дворце труда<sup>25</sup>, похороны, погребение – для меня проходило точно во сне. Над гробом хорошее слово сказал Яков Исаакович Явчуновский<sup>26</sup>, ныне уже покойный. Помню, как ко мне подошел наш профессор Евграф Иванович Покусаев<sup>27</sup> и молча пожал мне руку. Гроб провожала большая толпа – и коллеги: товарищи по областной газете «Коммунист» и по местному отделению Союза писателей. Вдоль траурной процессии бежал какой-то мальчишка. Удивленный, видимо, таким скоплением народа, он все время спрашивал: «Кого хоронят? Кого хоронят?» Никто ему не отвечал. И когда приставание мальчишки стало особенно назойливым, я бросил: «Человека!» Мальчишка отстал.

Решая вопрос о надгробном памятнике, в Союзе писателей меня спросили: что следует, по моему мнению, написать на нем. Я ответил, что только фамилию, имя, отчество и годы жизни. Может быть, добавить: писатель? Я продолжал настаивать на своем, и со мной не стали спорить. Так и сделали. Но что заставило меня поступить так?

Я рассуждал просто: тому, кто читал книги отца или хотя бы слышал о них, не нужно подсказывать, кто такой мой отец. Ну а кто не читал, тому слово «писатель» ничего не скажет. У нас принято составлять некрологи таким образом, что сразу и не узнаешь, кто же все-таки скончался. Приходится пробиваться через целый частокол званий, степеней, чинов и должностей, регалий и наград. Человек буквально тонет под грудой этих бесконечных наименований: Герой Советского Союза, Герой социалистического труда, член-корреспондент или академик, доктор наук, лауреат, профессор и т.д.

Один случай, кажется, подтвердил правильность моего решения. Однажды в погожий день я отправился на кладбище. Со временем вокруг могилы отца выросли новые, и пышность позднейших надгробий резко контрастировала со скромным обелиском моего родителя. Высокие саркофаги загораживали его, и он плохо был виден с дорожки. Я стоял около родной могилы. Мимо проходили двое мужчин. Около надгробия отца они остановились. Один из них сказал: «Борис Семенович Неводов. А я читал его роман “Бриллиантовый князь”. Хорошая книга». И они двинулись дальше. Слова незнакомого мне человека были для меня важнее и дороже многих официальных суждений и оценок.

В моем семейном фотоархиве хранится немало карточек. Но среди них я выделяю около десятка особенно мне дорогих. Вот отец нескольких месяцев от роду. Он сидит в расписном кресле, в кружевной распашонке, еще совсем беспомощный. Снимок сделан в Варшаве, в фирме Remarand. А вот он мальчишка, в округлом берете, в гимназической куртке с отложным воротником, а рядом его мать, польская пани в меховой дохе и в огромной шляпе с белым пером. Далее, отец – ученик Варшавского училища, остриженный наголо, в светлой униформе с темными погонами. Грустный взгляд юноши словно предсказывает его трагическую судьбу. И он же на двух фотографиях среди своих товарищей по московскому кадетскому корпусу, на одной из них он широко улыбается. И отец, уже молодой человек, в папахе и серой красноармейской шинели, снятый во французском фотоателье в г. Таганроге, видимо, в канун похода на Врангеля. Потом фотографии, сделанные в редакции «Красный Урал», и несколько семейных, уже саратовской поры, на которых снята наша семья, включая и сестру Люсю. И есть совершенно уникальный кадр: мой дед по отцовской линии, Семен Парамонович Неводов, уральский казачий офицер в цепи своего стрелкового взвода на одном из участков Первой мировой войны. Снимок сделан летом 1915 года на реке Пилице, в Польше, за какой-нибудь месяц до гибели деда от австрийской разрывной пули. И еще две фотографии. Отец на склоне лет, предельно утомленный жизнью, поблекший и очень печальный, как бы понимающий, что

---

<sup>25</sup> Дворец труда (Дом профсоюзов) – под таким названием саратовцы знали историческое здание (год постройки 1909–1910) на ул. Сакко и Ванцетти, 55 (пересечение с ул. Вольской).

<sup>26</sup> Яков Исаакович Явчуновский (1922–1988) – театровед, доктор искусствоведения, автор работ по истории и теории театра. Преподавал в Саратовском государственном университете.

<sup>27</sup> Евграф Иванович Покусаев (1909–1977) – доктор филологических наук, профессор, специалист по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина, истории русской литературы XIX века и русской сатиры. Заведовал кафедрой русской литературы на филологическом факультете Саратовского государственного университета.

жить ему осталось немного. Одет он бедно, в простой темной рубашке без галстука. И наконец, скромный обелиск на Воскресенском кладбище – последнее пристанище Бориса Семеновича.

\*\*\*

Отцу я обязан не только самим фактом своего рождения. Он был моим духовным отцом. Он сумел внушить мне любовь к книге и уважение к труду. Его собственное трудолюбие, предельная поглощенность избранным раз и навсегда делом, способность жертвовать многим, в том числе бытовыми и иными удобствами ради главного, к чему его призвала судьба, неприхотливость и скромность – все это осталось и остается для меня нравственным примером и образцом. Он был гуманным, хотя и слабым человеком, ненавидел ложь и крикливую демагогию и, теряясь перед грубостью и наглостью, не всегда мог отстоять свое человеческое достоинство. Помню, как привычку к многоговорению он называл «недержанием речи», а тех, у кого слова расходились с делом, – «обещалкиными». Преданность избранному им поприщу и любовь к слову, умение откликаться на земные радости бытия поддерживали его в самые тяжелые дни его жизни. И несмотря на то, что жизнь часто оборачивалась к нему подлостью, завистью и злобой, он сумел до конца оставаться доброжелательным человеком, и люди, хорошо знавшие его, ценили в нем это качество, столь редкое в наш черствый и жестокий век.

Его трагедия заключалась в том, что он не мог воплотить главную свою тему. По независящим от него обстоятельствам он растрачивал свой дар на вещи, которые не поглощали его целиком. Откликаясь на смерть Бориса Семеновича, Ю.Г. Оксман, один из моих учителей, писал мне о том, что в пору, когда открываются большие возможности для творчества, уход из жизни талантливого человека вызывает чувство сожаления и горечи.

Провожая отца в последний путь и вглядываясь в его мертвое лицо, я видел перед собой застывшую маску обиды и недоумения. Но стоят на полках его книги, поднимается к небу дерево, выросшее на его могиле. И шумят три из четырех посаженных отцом перед нашим старым домом лиственницы. И это тоже след, оставленный отцом на земле.

С чувством выполненного сыновнего долга я заканчиваю эту книгу.